

Всеволод Гаршин. *Attalea princeps* (сказка-аллегория)

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду — огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались лёгкие узорчатые арки, переплетённые между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стёкла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало её красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стёкла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметённым снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, тёплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стёкла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный учёный директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл её по-латыни *Attalea*! Но это имя не было её родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришёл в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма; когда он увидел её, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! — сказал он. — Я знаю это дерево. — И он назвал его родным именем.

— Извините, — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелёк, — вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это — *Attalea princeps*, родом из Бразилии.

— О да, — сказал бразильянец, — я вполне верю вам, что ботаники называют её — *Attalea*, но у неё есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое даётся наукой, — сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, её солнце и небо, её роскошные леса с чудными зверями и птицами, её пустыни, её чудные южные ночи. И вспомнил ещё, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушёл из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало ещё тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили её, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила своё родное небо и больше всех тосковала о нём, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь неё ей виднелось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и бледное, но

всё-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я всё-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливými, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам ещё, что вас не просят делать замечания.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.

— Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерёт.

— Но ведь не всех же нас обдирали, — сказал древовидный папоротник. — Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле.

Тут корица, забыв, что её обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за неё, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

— Зачем вы ссоритесь? — сказала Attalea. — Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете своё несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стёкла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрётся в стекло, то, конечно, её отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.

— Всё это глупости, — заявила она.

— Глупости! Глупости! — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Attalea, что она предлагает ужасный вздор. — Несбыточная мечта! — кричали они. — Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы и всё пойдёт по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски...

— Ну, как хотите! — отвечала Attalea. — Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решётки и стёкла, — и я увижу!

И пальма гордо смотрела зелёной вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке-цикаде:

— Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но всё-таки сердились на Attalea за её гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась её речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножие большой пальмы, слушала её, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для неё была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то, что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево! — так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. — Зачем я не большое дерево? Я

послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только ещё нежнее обвиться около ствола Attalea и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.

— Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но всё-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья: сосны, ели и берёзы. Я — маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол твёрд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьёте её и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, всё ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол твёрд и крепок: опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя.

— Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись её огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вёл своё дело.

— Да-с, взгляните-ка на *Attalea princeps*, — говорил он. — Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили всё наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха.

При этом он с довольным видом похлопывал твёрдое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы

вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!

«Он воображает, что я расту для его удовольствия, — думала Attalea. — Пусть воображает!..»

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились всё ближе и ближе, и наконец молодой лист коснулся холодного стекла и железа.

— Смотрите, смотрите, — заговорили растения, — куда она забралась! Неужели решится?

— Как она страшно выросла, — сказал древовидный папоротник.

— Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если б она сумела растолстеть так, как я! — сказала толстая цикада, со стволом, похожим на бочку. — И чего тянется? Всё равно ничего не сделает. Решётки прочны, и стёкла толсты.

Прошёл ещё месяц. Attalea подымалась. Наконец она плотно упёрлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его листовая вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что давило на решётки, и решётки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа.

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения.

— Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? — спросила она пальму.

— Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня? — ответила пальма.

— Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете.

— Молчи, слабое растение! Не жалею меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стёкол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи.

— Что это такое? — вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зелёная крона пальмы.

«Только-то? — думала она. — И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?»

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают её. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли тёмно-зелёные хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму: «Замёрзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для неё всё было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.

Директор приказал спилить дерево.

— Можно бы надстроить над нею особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и всё сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить её!

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили её. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись разможжённые пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказал директор. — Она уже пожелтела, да и пила очень испортила её. Посадить здесь что-нибудь новое.

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил её в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мёртвую пальму, лежавшую в грязи и уже полусасыпанную снегом.